

О.В. Шахин

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАННЕЙ ПРОЗЫ А.ФАДЕЕВА

В предлагаемой статье приводится опыт герменевтического анализа преломления евангельских истин в повести А.А. Фадеева «Разлив».

По мысли Г.И. Богина, полноценное усмотрение смыслов в тексте возможно только при распределенном понимании, когда «восстанавливается и создается множество частных элементарных смыслов, которые поддаются усмотрению благодаря множеству элементарных средств текстопостроения. Действия читателя ... направлены не только на то, чтобы воспринять это смысловое средство, но и на то, чтобы их категоризовать» [5: 4]. Результаты этой категоризации – метасмыслы и метасредства, а «единство категоризаций смыслов и средств дает текстовые метасвязи» [4: 5]. По определению Г.И. Богина, интерпретация есть высказанная рефлексия. Художественность же есть оптимум пробуждения рефлексии [6: 1]. Процесс рефлексии как выход к смыслам анализируется в данной работе на основе схемы мыследеятельности, предложенной Г.П. Щедровицким. Данная схема включает в себя три пояса: нижний – пояс мД (пояс социально организованного и культурно закрепляемого коллективно-группового мыследействования, или пояс реактивации предметных представлений), средний пояс М–К (мысли-коммуникации, или пояс усмотрения средств текстопостроения), верхний пояс М (пояс чистого мышления, или пояс прямых усмотрений метасмыслов). При восприятии реципиентом текста рефлексия фиксируется одновременно во всех трех поясах, понимание текста запрограммировано его автором «как понимание, идущее по кругу, пересекая почти все фиксации рефлексии одновременно во всех поясах системомыследеятельности» [3: 51], составляя полный герменевтический круг.

Произведения А. Фадеева принадлежат к лучшим образцам русской литературы: таковы они по уровню выразительности, художественной оригинальности, так что даже некая социальная заданность кажется простительной в рамках талантливо исполненного текста. В любом произведении художественной культуры присутствуют вечные смыслы, поскольку образующие онтологические конструкции, они обладают устойчивостью. По мнению Г.И. Богина, «истинно художественный текст всегда выводит рефлексия реципиента к экзистенциальным смыслам через смыслы текста» [3: 49]. А. Фадеев, принадлежащий к русской литературной традиции (как части традиции европейской, несмотря на оригинальные, присущие только ей черты), неизбежно выводит читателя к этим вечным, «считающимся в религии даже «богоданными» смыслам» [8: 179–180]. Названные экзистенциальные смыслы справедливо могут быть названы и библейскими; поскольку именно на христианских ценностях выстроена европейская культура, и это те смыслы, которые «опредмечены в тексте через формальные средства, провоцирующие рефлексия реципиента не только над данным текстом, но и над текстом Библии, и, следовательно, над Библейскими смыслами» [11: 179]. Восприятие реципиентом текста, входящего в нашу культурную традицию, элементы которой есть «филогенетически закрепившиеся и социально признанные» [4: 114], происходит на достаточно устойчивом основании, несущем свои скрытые для поверхностного бытия черты сквозь толщу времени. В частности, о повести «Разлив» можно сказать, что «интендирующие текстовые средства, необходимые

для образования «знаковой ситуации» для бытия ноэмы (мельчайшей единицы смысла), остались ... такими же, как были... Знаковая ситуация тоже мало изменилась, никак не изменились онтологизованные средства, составляющие знаковую ситуацию» [4: 35–36].

В повести «Разлив» присутствуют две противоположные тенденции – последовательное снижение смысла «Бог», начиная с употребления данной лексической единицы в нейтральном семантическом окружении и заканчивая употреблением имени Божьего в нарочито сниженном контексте; и столь же последовательное возвышение евангельских смыслов «любовь, верность, самопожертвование» и т.п. – через перевыражение их в описании действия и духовного состояния персонажей и их невольную положительную авторскую оценку. В повести все, что открыто, обыденно связано с Богом, часто имеет сниженный статус, однако все, что незримо стоит за Ним, поднято на достойную высоту, что традиционно для классической русской литературы. Очевидно, что во времена, когда атеизм выполнял функцию государственной религии («Разлив» был написан в 1923 г.), открыто отвергая Евангелие, евангельские истины существовали в жизни в виде множества «новых истин» и экзистенциальных смыслов, или топосов духа – «модусов человеческого бытия» [1: 179–180]. В данной статье мы ставили задачу проанализировать отражение в повести «Разлив» таких онтологических метасмыслов, как Бог и евангельские истины.

Кроме имплицитно указанных соотношений последних с героями повести и их действиями, существуют смыслы, эксплицитно выраженные автором. Рассмотрим эпизоды, в которых явно показано отношение людей к Богу, начиная с тех персонажей, которые даны автором в рамках традиционного, «старого» религиозного восприятия мира (по контрасту с «новым», безбожным). То, что связывает их с верой и церковью, существует в двух плоскостях – поверхностной и глубинной.

В первой плоскости лежит обыденное отношение к вере, выражающееся более всего в привычных, обиходных репликах и действиях; вторая плоскость – это реакция персонажей из «серой массы» (неактивных в общественном смысле, пассивно, безысходно переживающих революционные перемены простых людей) на нарушение привычных, глубоких по существу традиций веры, особенно нарушение их священнослужителем (первый же эпизод, в котором появляется этот герой, приводит читателя в некоторое недоумение: настолько необычен он в контексте данной повести, словно сошедший со страниц плутовского романа; поп – веселый, работающий мужик-богохульник).

Иллюстрацией первого может служить эпизод в самом начале книги, в картине получения дедом Неретой письма с фронта:

«... И еще извещаем вас, что любимые дети ваши, Федор и Карп, отдали Богу душу. Кресты на них надели другие, а собственные их, нательные, посылаю вам по заветанию...». Строчки химического карандаша запрыгали в глазах и побежали в разные стороны. Нерета уронил конверт, и два простых нательных крестика робко выпали на песок» [10: 69].

Данный текст содержит в себе возможности пробуждения рефлексии реципиента одновременно во всех трех поясах СМД, что составляет полноценный герменевтический круг. В его нижнем поясе МД читатель восстанавливает или

рисует себе образ персонажа и всю картину происходящего; далее, выходя в пояс М–К, отмечает выразительность текстопостроения:

- в начале первой строки характерное для официально-канцелярского стиля, которым писались извещения, начало «... И еще извещаем вас», содержащее в себе выход к смыслу «ожидание торжественности и трагичности»;

- явную семантическую избыточность и инвертированный порядок слов в синтаксической фразе «любимые дети ваши», выполняющие растягивание данного смысла;

- очевидную ритмизацию текста, под анапест, «когда трехсложный размер дает больше контрастности в ударениях, что существенно для ... грозных предвестий» [4: 121], что приводит к приращению того же смысла при очередной фиксации рефлексии реципиента в верхнем поясе СМД, и т.п.

Читатель выходит к метасмыслам, онтологическим схемам и картинам: безысходность, невосполнимость утраты, крушение привычного мира, прикосновение к таинству смерти, о которой отец погибших братьев не случайно извещается словами церковного обихода («отдали Богу душу»), как и не случайно во всем фрагменте письма, приведенном автором в данном эпизоде, о смерти говорится лишь в церковном контексте («Кресты на них надели другие, а собственные их, нательные, посылаю вам по завещанию...»). Очевидно, в критические периоды жизни, трагические и тяжелые для души, общение невольно переходит на уровень высоких смыслов, соответствующий духовной напряженности момента. Кроме того, именно с этого эпизода происходит собственно введение автором темы сопоставления старого и нового, трудно рождающегося мира.

Совершая очередной виток, рефлексия реципиента задерживается на фразе «и два прорыхлых нательных крестика робко выпали на песок», фиксируется на нижнем уровне предметных представлений мД, затем на среднем уровне М–К (где задевается опыт коммуницирования, связывающий наречие «робко» с метафорическим смыслом бережности, старания не нанести большей раны), далее выходит к поясу чистого мышления М (в котором происходит усмотрение смысла хрупкости, неверности человеческого бытия, и перевод его в разряд метасмысла «все под Богом ходим»). Происходит приращение данного смысла – ассоциируясь с крестом, который суждено нести каждому (известная каждому сентенция «у каждого свой крест»), робко выпадающие из конверта нательные крестики сыновей деда Нереты выводят и персонажа (деда), и читателя к следующему метасмыслу «окончание несения креста земной жизни», «последнее доказательство произошедшего несчастья с его детьми».

Опредмеченные в эпизоде смыслы, однако, незаметно переходят в противоположные себе. Это достигается немедленным авторским пояснением материальной подоплеки происходящего в следующем за вышеприведенной цитатой абзацем:

«Хозяйство у деда Нереты было крепкое: он жил всей семьей, не разделяясь. Когда старшие сыновья ушли на фронт (младший давно не жил дома), дед не сильно растерялся. Он мог еще работать сам, снохи – дебелие и крепкие бабы из-под Томска – пахали и косили, как мужики, а внуки-подростки тоже ели хлеб не попусту.

- Не унывай, детки! – говаривал дед на работе.- Вот мужики приедут – отдохнем все...

Теперь всё это рушилось. Ни к чему оказался пятидесятилетний труд. Впереди маячили только смерть и разорение перед смертью» [10: 269].

При восприятии данного отрывка текста возвращение рефлексии реципиента к метасмыслу эпизода с письмом («все под Богом ходим») неизбежно искажает и разрушает его, превращая в противоположный: «вторичность, поверхностность, декоративность связанных с верой слов и поступков, утилитарность их, отсутствие глубинного смысла». С этой позиции присутствие обиходно-церковных реалий и истин христианской веры в обыденной жизни раскрывается как «необходимый, принятый ритуал, обряд, когда в действительности никто и не думает о том, Богу ли они отдали душу, или нет». Всего лишь послушность обычаям, а не глубокое проникновение в мистический смысл смерти и погребения содержится в указании на то, что по традиции (по завещанию, как делали все или многие, как принято было делать) прислали крестики с убитых, перед похоронами не оставив их без креста, надев другие, чтобы похоронить «как положено».

Подобное понимание веры, спокойное и безразличное к ней отношение, характерно для основной массы второстепенных персонажей, таких как Антон Дегтярев, ссылающийся на Библию просто как на заведомо древний и, должно быть, авторитетный источник: «Сытый голодного не разумеет. Это, наверно, еще в священном писании сказано» [10: 294] и к слову вставляющий церковнославянские обороты «Радуйся, отче Харитоне, комаров нетути, – дождем побило» [10: 293]. При восприятии данного фрагмента текста рефлексия реципиента фиксируется в поясе М-К:

- усмотрение традиционной формы зачина припева ирмоса, одного из церковных песнопений;

- существительные в звательном падеже, сохранившемся исключительно в церковном обиходе ко времени действия романа, призванные создавать торжественный и благоговейный настрой («отче Харитоне»);

- существительное «отче», несомненно связанное с понятием святости, с одной стороны, а с другой стороны восприятие контрастно просторечного «комаров нетути, – дождем побило» (с нарочитым «нетути» и инвертированным порядком слов, кстати, слова эти принадлежат персонажу, который «под народный язык подделывался») [10: 293]. Ирония как троп и как отношение опредмечены в сочетании низкого и высокого стиля, и рядоположение их в одном контексте ставит смыслы «Божественного, святого, церковного» и «свойски-деревенского» на один уровень, тем самым низводя смысл первого до уровня пустой формы.

Рефлексия реципиента, выходя к топосам духа, верхнему поясу М, фиксирует это явное снижение, образуя метасмысл «пустота божественного, фальшивость приписывания ему надмирности, существование его только в контексте житейских отношений, за которыми ничего большего не стоит». Той же парадигме смыслообразования соответствует и следующий диалог:

«- Помогай Бог, - сказал таксатор.

- Бог помогает, помоги ты, - засмеялся Кривуля» [10: 297].

«Разлив», одно из ранних произведений А.Фадеева, – единственное, в котором пока еще классовый подход не столь категоричен. Текст повести организован таким образом, что отрицательные персонажи являются носителями религиозности, а положительные – оказываются совершенно лишенными ее. Однако в «Разливе» еще много действующих лиц, религиозность которых – не признак реакционности и враждебности новому, большевистскому началу, а всего лишь следствие их житейской пассивности, классовой отсталости, так или иначе не

вызывающих у автора и реципиента резкого неприятия. Например, интересна сцена организации спасения застигнутых стихией людей – беспомощные, безвольные, робкие, к тому же и неразумные (не вняли предупреждению о надвигающемся разливе реки), издавна привыкшие полагаться не на себя, а на Бога и перекладывать на Него всякую ответственность за свою жизнь, сельчане «сняли шапки и истово закрестились» [10: 315]. Равнодушные не только к новой власти, но и к собственной судьбе крестьяне справедливо противопоставлены завоевывающим авторитет энергичным, понимающим и благородным новым героям – большевикам, а их нарочито откровенное отношение к «божественному» выставлено в коротком диалоге:

«Лодка рванулась, а за ней, как утки, поползли другие.

- Спаси вас Бог! – закричали на берегу.

- Сами спасемся, - проворчал под нос Горовой» [10: 317].

Происходит приращение указанного выше метасмысла «пустоты и фальшивости божественного», средствами прямой номинации автором утверждается смысл «отделенность от Бога», «вера в себя вместо веры в Божий промысел». При попытке осмысления читателем всей сцены отправления лодок данный смысл растягивается до усмотрения символических категорий, что происходит следующим образом. Неожиданно для всех в селе появляется новый лидер Иван Нерета (по рождению здешний, но до того давно живший где-то в других краях), на которого только и возлагаются надежды попавших в беду и устремлены взоры всех собравшихся, словам которого внимают оставшиеся на берегу, как когда-то народ внимал стоявшему в лодке Христу. Вместо выполнения своих рыбацких обязанностей люди под его руководством идут на лодках спасать людей. Через фиксацию рефлексии в поясе предметных представлений мД возможен выход читателя в пояс действительности чистого мышления М: сопоставление происходящего в повести «Разлив» и евангельского сюжета призвания рыбаков к христианскому служению, а также известного обращения Христа к своим ученикам «Я сделаю вас ловцами человеков» [9: 241] приводит к усмотрению параллельных смыслов «долгожданное обретение бесценной истины», «бесспорная правота лидера», «признание ее народом». При выходе в пояс коммуникативной действительности М–К реципиент усматривает наряду с другими и такое средство текстопостроения, как говорящая фамилия: «нерета – рыболовный снаряд, верша ..., плетеная из лозы; кошель на обручах, вязеный, из сети» [7: 877], что возвращает рефлексию читателя в пояс М, к евангельским сюжетам, закрепляя уже созданный автором образ Учителя, обладающего правом и истиной.

Образ нового лидера, Ивана Неретина, вопреки всевозможным препятствиям спасающего людей, невольно наводит на мысль о христианской самоотверженности, в изобилии описанной в житийной литературе, готовность его умереть за идею напоминает евангельские картины, рисуя Ивана апостолом нового революционного времени. Однако он из тех, кто не нуждается в покровительстве Бога, и, интуитивно чувствуя это, его старый отец, до тех пор исполнявший все православные обряды и правила, впервые «не решается перекрестить» единственного оставшегося в живых сына, уходящего в опасное плавание [10: 316]. Не из-за свидетелей, столпившихся на берегу или недовольства сына старыми обычаями, а из внутреннего чувства неуместности смысла «перекрестить», т.е. дать свое родительское благословение (ведь оно дается отцом, лучше сына знающего мир

и позволяющего ему самому столкнуться с этим миром) или таким образом выразить надежду на покровительство Бога. Здесь же младший сын знает мир лучше отца, а покровительство ему ничье не требуется. Подчиняясь этой новой силе, невольно признавая ее нравственную правоту, дед Нерета «не решился перекрестить» Ивана, ибо новый мир, пришедший с новым мессией (Иваном), не допускает в себя старые символы. Так смысл «преображенные евангельские истины» растягивается за счет многократного выхода реципиента к верхнему поясу СМД, поясу переживаемых парадигматических смысловых структур, вырастая до масштабов метасмысла всей повести.

Итак, через перевыражение в картинах деревенской жизни евангельских образов и смыслов происходит образование нового феномена – внешнее отрицание христианских истин (утвержденных ранее в форме церковной жизни, но скомпрометированных ее нестроениями) и внутреннее возрождение их через обновление, воплощение в действительной жизни жертвенности, верности, сострадания, etc.

Неодобрительное, враждебное отношение к церкви и религии как носителям ложной святости передано в повести средствами иронии, намеренного выбора персонажей – приверженцев той или иной идеи, и средствами опредмеченного или прямого указания на ненужность религии. Первое связано со следующей картиной:

«Рыжая кошка ловила на занавеске паута. Паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови. Он разомлел от жары, не мог летать и жужжал нудно и густо, как протодиакон» [10: 274].

Пробуждение рефлексии читателя происходит на уровне мД – в представлении всей картины целиком, при связывании множества образов воедино: чистые «белые занавесочки» на окне правления, оцепеневший от жары мир, мерное жужжание сонного паута (овода), сомлевшая рыжая кошка, лениво хватающая его лапой; далее мир предметных представлений перевыражается в поясе М–К, одновременно фиксируясь в поясе чистого мышления и вывода реципиента к усмотрению смыслов «схожесть сонного и недвижимого деревенского полдня с сонностью, неподвижностью и оцепенением того мира, в котором присутствует «нудное гудение» протодиаконов и иже с ними». В отличие от строгого, благоговейного отношения к храму и его служителям, свойственного простодушному деревенскому люду, здесь выявляется критическое, уничижительное, ироническое «протодиакон нудно жужжит» (выход в пояс М–К и усмотрение выразительных средств текстопостроения, таких как стилистическая избыточность в сочетании слов «жужжит» и «нудно», звукоподражание с обилием шипящих *з, ж*, а также употребление множества сонорных (*м, л, р, н*), дающих ощущение слипшегося от жары и сухости языка). Меткое сравнение жужжания овода с пением протодиакона ведет к невольному сопоставлению и самих образов («паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови»), что в результате дает усмотрение смысла чего-то нечистого, зловредного, паразитического, в конечном итоге вызывающего явное неприятие. Однако стилистическое снижение отношения к «служителю культа» ведет к сниженному отношению к религии вообще. «Служители» только номинативно принадлежат к «божественной» части бытия человеческого, а по сути выпадают из неё, переходя

в ее противоположность. Так автором опредмечивается смысл «пустота и фальшивость религии».

Выбор автором персонажей, несущих в себе положительное восприятие религии, вполне в русле традиции советской литературы – это весьма сомнительные типы, и с классовой, и с нравственной точки зрения, что, например, представлено средствами прямой номинации в двух следующих отрывках:

«... он извещал о том, что кошкаровские староверы убили в тайге несколько китайцев из-за корня «женьшень», и просил прислать следственную комиссию.

- Сволочи! – вслух подумал Неретин. – Солдат не давали, потому религия не позволяет, а китайцев стрелять позволяет!» [10: 275].

Последняя страница повести содержит в себе буквально приговор всему религиозно-церковному, тем самым завершая развитие темы «приоритеты и ценности нового бытия»: *«на угрюмых церковных задах притаилось темное и скучное кладбище. Но туда Неретин не посмотрел. Белела там новеньким, никому не нужным крестиком свежая могила ...» [10: 335].* Предметное представление, вырастающее из фиксации рефлексии в поясе мД, может дать нам образ выздоравливающего от смертной тоски человека, оставившего в прошлом своё личное счастье и готового полностью отдаться служению народному делу, строительству «новой жизни». Выход в пояс М–К дает усмотрение средств текстопостроения: церковь и церковное кладбище определены эпитетами «угрюмый», «темный» и «скучный»; крестик на могилке – «никому не нужный»; живо представляя себе погост, главный герой «туда не посмотрел». Подобные средства направляют луч рефлексии в верхний пояс М к идеологизированному метасмыслу «негативное отношение к вере и церкви, стойкое ассоциирование их с тёмным «проклятым прошлым», «нежелательность их присутствия в «новой жизни».

По словам Г.И. Богина, «каждая из фиксаций перевыражает другую, что и приводит к целостности понимания», а «всё..., что вливается в понимание как субстанцию из всех и каждой фиксации рефлексии, – всё это оказывается ипостасями, инобытиями некоторого единого, создающего целостность, – художественной идеи, задающей художественную реальность» [2: 3].

При освоении художественного текста рефлексия читателя направлена вовне на осваиваемый образ (переживание трагической ситуации персонажами повести, столкновение старого и нового в меняющемся мире, исполнение общественных и личных обязанностей и т.п.), далее – на рефлективную реальность (по терминологии Г.И. Богина, «отстойник опыта» реципиента), пройдя через которую, луч рефлексии несет на себе последствия рефлективного опыта, представленного в виде агломерации нозм (минимальных единиц смысла), которые конфигурируются в категоризованные смыслы (метасмыслы). Попробуем проследить, какой метасмысл (или художественная идея) заметен при взгляде на данное произведение в целом.

Сам сюжет повести – реминисценция библейской истории о потопах, сметающем нечестивых с пути праведных, дающем возможность начать жизнь заново, с чистого листа. Выход читателя в рефлективную позицию приводит его к возможному выводу, что название «Разлив» несет в себе двойной смысл. Это не только очищающее начало, которое выявляет, как всякое несчастье, внутреннее содержание каждого участника события и демонстрирует всем, кто на стороне правды (Иван Неретин, и иже с ним), а кто нет (лавочник, мельник, таксатор,

пьяница-учитель), разделяя персонажей на «чистых и нечистых». Второй, глубинный смысл содержит в себе образ разлива, неудержимого потока новой жизни, захватывающего всех и вся, внешне отменяющего старые основы жизни (смыслы жизни) и предлагающего новые, с традиционной верой не связанные. Однако при более внимательном рассмотрении в этих «новых» нормах и правилах нравственной жизни видны всё те же христианские начала. Постоянное возвращение к христианским смыслам как вечным онтологическим категориям и дает возможность полноценного понимания текста повести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богин Г.И. Интерпретация текста. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 1995. – 38 с.
2. Богин Г.И. Обретение способности понимать. Введение в филологическую герменевтику. – Рукопись – 512 с.
3. Богин Г.И. Представление Л.Н.Толстого об идеальном художественном текстопроизводстве // Понимание как усмотрение и построение смыслов. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 1996. – Ч.1. – С.45–59
4. Богин Г.И. Субстанциональная сторона понимания текста. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 1993. – 138 с.
5. Богин Г.И. Схемы действий читателя при понимании текста. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1986. – 70 с.
6. Богин Г.И. Интерпретация текста // *Hermeneutics in Russia* <<http://www.tversu.ru/Science>> 1999. № 1.
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. – Т. IV/3. – М.: Астрель АСТ, 2004. – 901 с.
8. Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. – Ч. VI/1. – М.: Христианская литература, 2004. – 512 с.
9. Святое Евангелие. – Клин: Христианская жизнь, 2006. – 832 с.
10. Фадеев А.А. Разлив. Собр. Соч. в 4-х томах. – Т. IV/2. – М.: Правда, 1979. – 400 с.
11. Фролов К.А. Библейские смыслы в текстах художественной литературы для детей // Языковые подсистемы: стабильность и динамика. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. – С.178–184.